

Александр Гарцев



Бедный ребенок

# Александр Гарцев

## Бедный ребенок

<https://litres.ru/74041508>

SelfPub; 2026

### Аннотация

Повесть сетевого писателя Александра Гарцева "Бедный ребенок" не первое обращение к теме детства.

Новеллы "Падла", "Отчим", "1951" и другие тому подтверждение.

«Бедный ребенок» — повесть о том, как выживают, когда некому спасти. О том, как прощают, когда не заслужили. И о том, что даже в самом темном детстве можно найти свет. В книгах. В учительнице. В мальчике в кожанке. В кукле с золотым глазом.

Если вы когда-нибудь чувствовали себя нелюбимым — эта книга для вас.

Если у вас есть дети — эта книга для вас.

Если вы просто человек — эта книга для вас.

Потому что каждый из нас когда-то был бедным ребенком.

Просто не все это помнят.

Пронзительная история. Честная. До слез.

Психологическая драма о взрослении вопреки.

Урал, 90-е, время, когда рушилось всё — кроме маленьких сердец.

# Содержание

Глава 1. Кукла без лица	4
Глава 2. Сопли и манная каша	12
Глава 3. Бабушкина правда	20
Глава 4. Дом на окраине	30
Глава 5. Красивая тетя с фотографии	40
Конец ознакомительного фрагмента.	42

# Александр Гарцев

## Бедный ребенок

### Глава 1. Кукла без лица

Мать не брала ее на руки.

Вера запомнила это раньше, чем научилась говорить. Не умом — животом, спиной, каждой клеткой тела, которая помнит чужое тепло. Отец брал. Отец пах машинным маслом и потом, от него пахло угольной пылью и чем-то сладким — может, дешевым табаком, может, просто усталостью. Отец сажал Веру на колени и сжимал так, что трудно было дышать, но уходить не хотелось.

А мать лежала.

Она лежала на диване в комнате с зашторенными окнами. Диван был коричневый, продавленный, с торчащими пружинами, которые мать называла «эти уроды». Мать лежала на нем в халате — то в синем, то в розовом, то в том, на котором спереди оторвалась пуговица, а она все равно носила, потому что «все равно никто не придет». Волосы у матери были длинные и красивые — Вера это понимала даже в свои четыре года. Русые, чуть выющиеся на концах. Мать расчесывала их редко, а когда расчесывала — смотрела в маленькое зеркало на тумбочке и улыбалась какой-то своей улыбке,

не для Веры.

— Мам, — говорила Вера, подходя к дивану. — Мам, а мам.

— Что тебе? — не поворачивая головы.

— Мам, иди играть.

— Иди сама играй. Я устала.

Мать всегда уставала. Она не ходила на работу, потому что «с таким образованием только полы мыть». Она не готовила, потому что «я не научена, меня мать не учила». Она не гуляла с Верой, потому что «на улице то холодно, то грязно, то люди смотрят». Вера не понимала, от чего устает человек, который целый день лежит на диване и смотрит в потолок. Но понимала другое: подходить лучше нечасто. И не просить слишком много. И не плакать. Потому что если заплачешь — мать закричит.

— Что ты реवेशь? — кричала мать. — Я тебя кормлю, я тебя пою, я на тебя всю жизнь положила, а ты реवेशь!

Вера не знала, что значит «положила всю жизнь». Ей казалось, что это что-то тяжелое. Может, мешок с картошкой. Мать положила этот мешок и теперь не может встать с дивана.

Отец приходил поздно. Иногда Вера уже спала, иногда еще нет. Она научилась не засыпать до его прихода — ждала. Слышала, как открывается дверь, как отец тяжело ступает в прихожей, как мать с дивана говорит:

— Гена, я не могу больше. Ребенок орет весь день. Я

психую.

Отец молчал. Потом слышались шаги в коридор, и отец заглядывал в комнату к Вере — маленькую, с кроваткой у стены и плюшевым зайцем без уха. Отец садился на край кровати, гладил Веру по голове.

— Спишь, Вера?

— Нет, — шептала она.

— А чего не спишь?

— Тебя жду.

Отец замолкал. Она чувствовала, как дрожит его рука. Потом он говорил:

— Я тебе чудо принес.

И доставал из кармана куртки чупа-чупс. Всегда в красной обертке — клубничный. Вера разворачивала медленно, чтобы конфета не упала. Отец смотрел. В темноте она почти не видела его лица, но чувствовала — он улыбается.

— Пап, — спрашивала она. — А почему мама меня не любит?

Тишина была длинная. Отец кашлянул. Сказал:

— Любит. Просто устала.

— А почему она устала?

— Трудно ей. Не спрашивай.

Вера не спрашивала. Она сосала чупа-чупс и смотрела, как отец встает, идет на кухню, что-то гремит посудой. Слышала, как мать начинает говорить громче — сначала спокойно, потом все злее:

— Ты пришел, значит, я свободна? Я целый день с этим ребенком, у меня голова раскалывается, я есть хочу, а в доме — ничего. Ни хлеба, ни масла. Гена, ты меня слышишь?

— Слышу, — глухо отвечал отец.

— Ты бы хоть раз подумал о нас, а не о своей шахте. Там тебе, может, и лучше, чем дома, да?

— Алиса, перестань.

— Не указывай мне!

Что-то падало. Вера зажмуривалась. Она знала — сейчас дверь хлопнет, отец выйдет покурить на лестницу. Мать будет плакать или кричать. А потом наступит тишина. И в этой тишине Вера засыпала с чупа-чупсом в руке.

Однажды — Вере тогда было, наверное, четыре с половиной, она еще плохо считала — мать не встала с дивана вообще. Совсем. Даже в туалет не ходила. Отец пришел с работы, увидел, помолчал, потом убрал со стола пустые тарелки и начал варить суп из пакета. Вера сидела в углу комнаты и играла куклой.

Кукла была страшная. Вера знала это, но не говорила никому, потому что других игрушек не было. Кукле не хватало одного глаза — вместо него зияла черная дырочка, а волосы на голове были выдраны клоками, так что виднелся розовый пластик черепа. Куклу звали Света. Вера нашла ее в мусорном ведре год назад — мать выкинула, потому что «это уродство даже в детдом не возьмут». Вера дождалась, пока мать уснет, достала Свету из ведра, отмыла в ванной под краном.

Света пахла чистящим порошком, но Вере нравилось.

Сегодня Вера лечила Свету. Она нашла на полу пуговицу — маленькую, белую, с четырьмя дырками — и решила пришить ее вместо глаза. Ниток не было, но была жвачка. Не жвачка даже — жевательная резинка, которую отец дал вчера, «Орбит» без сахара. Вера разжевала резинку, прилепила пуговицу к лицу куклы, прижала пальцем.

— Теперь у тебя есть глаз, — сказала она Свете. — Ты красивая.

Пуговица держалась криво, смотрела в сторону. Но Вере нравилось.

— Иди ко мне, — сказала она и взяла куклу на руки. — Я тебя люблю.

В этот момент мать зашевелилась на диване.

— Вера, — позвала она.

Вера замерла. Она уже знала — если мать зовет по имени, значит, сейчас что-то будет.

— Иди сюда.

Вера подошла. Куклу держала за спиной.

— Что у тебя там?

— Ничего.

— Покажи.

Вера показала. Мать посмотрела на куклу, на пуговицу, прилепленную жвачкой. Лицо у матери дернулось. Вера подумала: сейчас засмеется. Но мать не засмеялась. Она встала с дивана — первый раз за день — и выхватила Свету.

— Не-е-ет! — закричала Вера.

Мать размахнулась и швырнула куклу в стену. Пуговица отлетела. Резинка присохла к пластику некрасивым серым комком. Кукла упала на пол, и Вера услышала, как треснула ее пластмассовая голова — еще один глаз теперь не работал.

— Будешь выть по уродам, — сказала мать и легла обратно.

Вера стояла посреди комнаты. Губы дрожали. Она знала: нельзя плакать. Если заплачешь — будет хуже. Мать встанет, начнет кричать, может, толкнет или ударит. Но слезы все равно текли. Она их вытирала рукавом кофты, но они текли и текли.

Отец пришел через час. Увидел Веру, сидящую на полу с куклой в руках. Кукла была без глаз, без пуговицы, с трещиной на голове. Вера сжимала ее так, будто боялась, что у Светы отвалятся еще и руки.

— Верка, — тихо сказал отец. — Что случилось?

Она помотала головой.

Он сел рядом. Тяжело вздохнул. Посмотрел на диван, где мать лежала лицом к стене.

— Пойдем, — сказал он. — Я твою Свету полечу.

Они сидели на кухне. Отец достал из ящика суперклея — маленький тюбик, который берег для чего-то важного. Вера держала куклу, отец мазал клеем трещину на голове.

— Будет как новая, — сказал он.

— Ей теперь два глаза надо, — прошептала Вера. — Один

потерялся, а второй... мама.

Отец помолчал. Потом нашел в кармане монетку — пять копеек, старую, блестящую. Приклеил ее на место пустого глаза.

— Смотри, — сказал он. — У нее теперь золотой глаз. Таких ни у кого нет.

Вера посмотрела. Пятак сидел криво, блестел под лампой. Кукла стала похожа на пирата.

— Красивая? — спросил отец.

— Красивая, — сказала Вера.

Она прижала Свету к груди. Отец обнял ее. От него пахло шахтой — угольной пылью, мазутом, усталостью. Но Вере этот запах нравился. Потому что он был настоящий. Потому что отец был здесь.

— Пап, — спросила она в его плечо. — А когда я вырасту, я тоже буду лежать на диване?

Отец замер.

— Нет, — сказал он после долгой паузы. — Ты не будешь.

— Почему?

— Потому что ты сильная. Я вижу.

Вера не знала, что значит «сильная». Но слово ей понравилось. Сильная — это, наверное, та, кого не бросают. Или та, кто не бросает. Или та, у кого кукла с золотым глазом.

Ночью, когда мать заснула и отец ушел курить на лестницу, Вера долго сидела на кровати. Она смотрела на Свету и думала. Думала о том, почему одних детей берут на руки, а

других нет. Почему мама улыбается зеркалу, но не улыбается ей. Почему отец говорит «любит», но на диван никто не подходит.

Она не нашла ответов. Но нашла другое.

Она прижала куклу к щеке и прошептала:

— Мы с тобой сами по себе. Ничего.

А за стеной мать во сне крикнула чье-то имя. Не Веры. Не Гены. Какое-то другое, мужское.

Вера закрыла глаза. В голове стучало: терпи. Терпи. Терпи.

Она еще не знала, что это слово станет ее молитвой.

## Глава 2. Сопли и манная каша

Вера запомнила тот день по запаху.

Пахло больницей — хлоркой, мокрыми простынями и чем-то кислым, от чего хотелось чихать. Отец вел ее за руку по длинному коридору, и Вера смотрела на пол: плитка была белая, местами желтая, с черными трещинами, похожими на молнии.

— Пап, куда мы идем?

— К маме.

— Мама здесь?

— Здесь. Она тебе братика родила.

Братика. Вера слышала это слово от соседки тети Зои, которая иногда давала ей печенье. «У тебя скоро братик будет, Верунчик». Вера думала, что братик — это такой подарок, как кукла, только живой. Она не понимала, зачем нужен братик, если есть она. И если мама все равно лежит на диване, то зачем еще один человек?

Отец остановился у двери с табличкой. Постучал. Вошла медсестра в белом халате и с лицом, похожим на пельмень.

— Вы к Алисе Серебряковой? Только тихо. Она кормит.

Отец кивнул. Открыл дверь.

Палата была светлая, не похожая на их квартиру. Окна большие, шторы белые, на подоконнике цветок в горшке — фикус, как у бабушки Евдокии, только поменьше. И пахло

здесь не хлоркой, а чем-то сладким — может, молоком.

Мать сидела на кровати, опершись на подушки. Вера увидела ее и не узнала.

Мать улыбалась.

Не той улыбкой, которой улыбалась зеркалу. Другой. Настоящей. И глаза у нее были не пустые, а живые, теплые. Вера замерла. Она не помнила, чтобы мать так на нее смотрела. Никогда.

— Иди сюда, — позвала мать.

Вера сделала шаг. Потом еще один. Отец подтолкнул ее легонько в спину.

Мать держала на руках сверток. Из свертка торчало маленькое красное лицо с закрытыми глазами и сморщенный кулачок, похожий на гребешок.

— Смотри, — сказала мать. — Это Паша. Твой брат.

Вера смотрела. Лицо у брата было странное — все в морщинах, как у старичка, и какое-то мокрое. Губки маленькие, с пузырьком.

— Он красивый, — сказала мать. — Весь в меня.

Вера не понимала, что значит «весь в меня». Паша был маленький и розовый. Мать была большая и бледная. Но Вера кивнула, потому что мать улыбалась. В первый раз ей.

— Хочешь подержать? — спросила мать.

Вера не успела ответить. Мать уже протягивала сверток, отец подхватил, помог уложить Вере на руки.

Паша был тяжелый. И теплый. И пахло от него не хлоркой

и не молоком, а чем-то своим, новым, человеческим. Вера смотрела на него, а он вдруг открыл глаза. Глаза у Паши были синие, мутные, еще ничего не видящие. Но Вере показалось — смотрит прямо на нее.

— Мам, — сказала Вера. — А он меня любит?

Мать засмеялась. Настоящим смехом, не тем, каким смеялась над ней, когда Вера падала или роняла тарелку.

— Он тебя не знает еще, глупая.

— А когда узнает?

— Скоро. Будете вместе играть.

Вера держала брата и чувствовала, как что-то теплое поднимается внутри. Не в животе — в груди. Может, это и есть любовь. Та, про которую говорят по телевизору. Или та, про которую бабушка Евдокия шепчет в церкви.

Отец стоял рядом, смотрел на мать. Мать смотрела на Пашу. Вера смотрела на всех.

— Гена, — сказала мать. — Ты принес что-нибудь? Яблоки? Конфеты?

— Принес, — отец полез в сумку. — Вот, мандарины. Вот печенье.

— Мандарины я люблю, — мать взяла пакет, заглянула внутрь. — Хорошо.

Вера ждала. Ей тоже хотелось мандарин. Или печенье. Или чтобы мать посмотрела на нее — хотя бы раз, как на Пашу.

— Мам, — сказала она. — А мне?

— Что тебе?

— Мандарин.

— Сейчас, дай мне поесть.

Мать взяла мандарин, начала чистить. Пальцы у нее были длинные, с розовыми ногтями — покрашенными, хотя зачем в роддоме красить ногти, Вера не знала. Кожура падала на тумбочку, запах разлетался по палате.

Вера смотрела. Ждала.

Мать съела мандарин сама. Долька за долькой. Не отломил ни одной.

Потом взяла второй.

— Мам, — тихо сказала Вера.

— Подожди, я голодная.

Вера положила Пашу на кровать. Отошла к окну. Смотрела на улицу: во дворе больницы стояла скамейка, на скамейке сидела женщина с коляской. Женщина наклонялась, поправляла одеяло, гладила ребенка по голове. Ребенок не плакал. Он спал, а женщина его гладила.

Отец подошел к Вере сзади.

— Хочешь мандарин? — шепотом.

— Хочу, — так же шепотом.

Он достал из кармана один мандарин — маленький, зеленатый с бочка, приплюснутый. Протянул.

— Ешь. Только тихо.

Вера чистила мандарин и смотрела на мать. Мать теперь разговаривала с Пашей — тем голосом, которого Вера нико-

гда не слышала. Тонким, воркующим, как у тети Зои, когда та общается со своим котом.

— Пашенька, мой хороший, мой красивый, мамочкин сыночек.

Вера жевала мандарин. Он был кислый. Очень кислый. Но она не могла остановиться, потому что если жевать, то можно не плакать. А плакать нельзя.

— Пап, — спросила она. — А почему она так с ним?

— Как?

— Говорит так. И смотрит.

Отец помолчал. Потом сказал:

— Она его любит.

— А меня?

— И тебя.

— Не так.

Отец не ответил. Только погладил Веру по голове. Рука у него была тяжелая, мозолистая, но гладил он осторожно — будто боялся сломать.

Через час пришла медсестра. Та самая, с лицом-пельменем.

— Посетителям пора, — сказала она. — Давайте, собирайтесь.

Отец начал одевать Веру: курточку, шапку, шарфик, варежки на резинке. Вера не сопротивлялась. Смотрела на мать, которая даже не повернулась к ним.

— Алиса, — сказал отец. — Мы пойдем.

— Идите.

— Ты как?

— Нормально. Кормить сейчас будут.

— Может, тебе что принести завтра?

— Журнал принеси. И шоколадку.

— Хорошо.

Отец взял Веру за руку. У двери Вера обернулась.

— Мам, — сказала она. — А когда я к тебе приду?

— Скоро, — не глядя.

— А ты меня обнимешь?

Мать на секунду замерла. Потом взяла Пашу на руки, прижала к груди.

— Конечно, обниму. Иди, Вера.

В коридоре Вера вырвала руку из отцовской ладони и побежала. Недалеко — туда, где за поворотом были большие окна. Встала у подоконника, уперлась лбом в холодное стекло.

— Верка, — отец подошел, встал рядом. — Ты чего?

— Ничего.

— Не верю.

— Пап, — она повернулась к нему. В глазах не было слез — она уже научилась их глотать. — Пап, а почему она меня не называет Пашенькой?

Отец присел на корточки. Посмотрел ей в лицо.

— У тебя имя другое. Ты — Вера. Это сильное имя.

— А Паша — слабое?

— Паша — просто маленький. А ты большая.

— Я не большая. Мне четыре.

— И ты уже большая. Потому что терпишь.

Слово «терпишь» упало как камень. Вера его уже знала.

Она его выучила сама. Не из книжек — из тишины по ночам, когда мать кричит, а отец молчит.

— Пап, — спросила она. — А если я вырасту, я рожу дочку. И она будет маленькая. Я ее буду называть Пашенькой?

— Как захочешь.

— Нет, — Вера помотала головой. — Я ее буду называть... доченька. Просто доченька. И буду ее любить. Сильно-сильно.

Отец не сказал ничего. Просто обнял. Вера уткнулась ему в шею — от отца снова пахло углем и усталостью. И еще, сегодня, почему-то мандаринами. Но не кислыми, а сладкими.

Она закрыла глаза и представила: у нее есть дочка. Маленькая, с кудряшками. Они сидят на диване — не на продавленном, а на новом, мягком, красивом. И дочка сидит у нее на коленях, а она ее гладит по голове и говорит: «Я тебя люблю».

И мать рядом нет. Никакой матери. Только она и дочка.

— Пап, — прошептала Вера. — А ты будешь моей дочке дедушкой?

— Буду, — сказал отец. — Обязательно.

Они стояли у окна роддома, и за стеклом медленно падал снег. Крупный, мокрый, уральский. Вера смотрела на сне-

жинки и думала о том, что когда-нибудь она будет счастлива. Обязательно. Назло. Назло всем, кто не верит, кто не любит, кто не берет на руки.

Она еще не знала, что отца не станет, когда ей будет семь.

Она еще не знала, что мать заберет Пашу, а ее так и оставит у бабушки.

Она еще не знала, что слово «терпи» станет ее единственной молитвой на долгие годы.

Но одно она знала точно, стоя у того окна с кислым привкусом мандарина во рту: кукла Света с золотым глазом ждет ее дома. И это важнее, чем мать, которая не обняла.

— Так нельзя, — прошептала Вера стеклу. — С детьми так нельзя.

Стекло запотело от ее дыхания.

Она нарисовала пальцем солнце.

И пошла за отцом — к выходу, в холод, в жизнь, где ее не любили, но где она все равно собиралась выжить.

## Глава 3. Бабушкина правда

Конец апреля 1994 года. Зареченск, Свердловская область. Время — между завтраком и обедом, но солнце уже не весеннее — предмайское, нахальное, режущее глаза после долгой зимы. На улице плюс пять, но с Уральских гор дует такой ветер, что кажется — минус десять. Грязь на дорогах по колено, снег сошел только с асфальта, а в тени сугробы еще стоят черные, побитые, похожие на старушечьи зубы.

Место действия: коммунальная квартира на улице Уральской, дом 17, кв. 8. И та самая дорога — от этого дома до остановки, от остановки до бабушкиного дома на окраине.

Вера проснулась от того, что кто-то громко говорил на кухне.

Не мать — мать спала. Не отец — отец ушел на шахту затемно. Голос был чужой, низкий, женский, и в нем слышалась такая сила, от которой хотелось спрятаться под одеяло.

— Алиса, встань. Не прикидывайся.

— Мама, ну что ты сразу, я только уснула.

— Только? А ты знаешь, который час? Одиннадцать. Паша второй час в мокрых пеленках лежит. Я в прихожую захожу — от вас разит, как от бомжей.

Вера не открывала глаза. Она узнала голос — это бабушка Евдокия. Бабушка приезжала редко, раза три в год, и каждый раз после нее в квартире долго пахло пирогами и страхом.

— Где Вера? — спросила бабушка.

— Спит, наверное.

— Наверное? Ты мать или кто?

— Я устала, мама. Роды тяжелые были.

— Какие тяжелые? Ты третьего дня родила, ходить уже можешь. А девчонку твою кто кормить будет?

Вера услышала шаги — тяжелые, уверенные, не такие, как у отца. Дверь в комнату открылась. Бабушка стояла на пороге — большая, в темном платке и старом пальто, из которого торчала синтетическая вата. Лицо у бабушки было рябое, с глубокими морщинами вокруг рта, а глаза — черные, острые, как гвозди.

— Вера, — позвала она. — Вставай.

Вера села. Не плакала. Не терла глаза. Просто села и посмотрела на бабушку.

— Здравствуйте, бабушка.

— Здравствуй, коли не шутишь. Одевайся. Пойдешь со мной.

— Куда?

— Ко мне. Жить.

Вера посмотрела на мать. Мать стояла в дверях комнаты, кутаясь в халат, и лицо у нее было не злое — нет, злое Вера знала. Лицо у матери было равнодушное. Как будто речь шла не о дочери, а о старой тумбочке, которую можно вынести на помойку.

— Мам, — сказала Вера. — А можно я здесь останусь?

— Зачем? — мать пожала плечом. — Ты все равно бабушке больше нужна.

Вере показалось, что ее ударили. Не рукой — словом. «Больше нужна». Значит, матери она не нужна вовсе.

— А Паша? — спросила Вера. — А папа?

— Папа на работе. А Паша маленький, ему нужна мама. А ты уже большая.

Вера хотела сказать, что она не большая. Что ей только пять — почти пять, в мае будет. Что она тоже хочет, чтобы ее кормили с ложечки и называли «моя хорошая». Но бабушка уже взяла ее за руку — жестко, без нежности, но крепко.

— Не ной, — сказала бабушка. — Собирайся.

Одеваться было не во что. Вера натянула колготки — в двух местах заштопанные, но дырявые все равно. Сверху — платье, которое мать сшила сама, но перекошило, и одно плечо вечно сползало. Сверху платья — кофту с оленями, олени уже выцвели до бледно-серого, и одного оленя звали, потому что пуговицы оторвались.

Бабушка молча смотрела. Потом достала из своей сумки — огромной, дерматиновой, с замочком-щелкунчиком — вязаную шапку.

— На, — сказала она. — Своя уже уши отморозила.

Шапка была малиновая, с помпоном. Помпон кособокий, но теплый. Вера надела. Шапка пахла нафталином и старым шкафом.

— Прощайся, — сказала бабушка.

Вера подошла к матери. Мать стояла все так же — руки скрещены на груди, лицо каменное.

— До свидания, мама, — сказала Вера.

— До свидания.

— Я приеду к вам?

— Приедешь.

Мать не обняла. Не поцеловала в макушку. Даже не погладила. Вера ждала три секунды. Потом развернулась и пошла к двери.

В прихожей она увидела Пашу — он лежал в переносной кроватке-люльке, той самой, в которой когда-то лежала Вера. Лицо у Паши было красное, он морщился во сне и чмокал губами. Вера наклонилась, поцеловала брата в лоб — куда-то между бровей, где кожа была теплая и гладкая.

— Расти, — шепнула она. — Ты хоть будешь счастливый.

Она не знала, откуда взялись эти слова. Просто пришли.

Бабушка дернула за руку.

— Пошли, замерзнешь.

За порогом Веру накрыл холод. Не такой, как дома, где батареи грели еле-еле и гулял сквозняк из щелей. Настоящий, уральский, апрельский — когда ветер дует с гор, а солнце светит вроде тепло, а на деле — обман.

— Не стой, — сказала бабушка. — Иди.

Они шли по улице Уральской. Дома здесь были старые, двухэтажные, с деревянными верандами и облупившейся штукатуркой. В палисадниках — прошлогодняя трава и

окурки. У подъезда номер пять сидели мужики на корточках, пили пиво из горла. Один, с татуировкой на пальце, посмотрел на Веру и сказал:

— Девка-то чья?

— Моя, — отрезала бабушка, даже не замедлив шаг.

— А мать где?

— Дома. Спит.

Мужик заржал. Вера опустила голову и смотрела под ноги — на жижу из снега, земли и собачьего дерьма. В резиновых сапогах, которые отец купил на вырост — на два размера больше — было тепло, но ходить трудно. Ноги болтались внутри, и Вера спотыкалась.

Бабушка не сбавляла шагу.

— Не отставай, — бросала она через плечо.

На остановке ждали автобус. Стекло будки была разбита — стекло заменяла фанера с матерными надписями. Внутри пахло мочой и дешевыми сигаретами. Бабушка зашла туда, достала из сумки сверток — оказалось, половинка черного хлеба с маслом и солью.

— Ешь, — сказала она и сунула хлеб в Веру.

Хлеб был не свежий — с горчинкой. Но масло настоящее, желтое, с крупинками соли. Вера ела и смотрела, как мимо проезжают «Жигули» — белые, синие, красные. На одном, зеленом, была надпись «МММ» и почему-то портрет женщины с большими глазами.

— Бабушка, — спросила Вера с набитым ртом. — А вы

меня забрали навсегда?

— Надолго.

— А я буду к маме возвращаться?

— Будешь. Когда у нее ум проснется.

Бабушка говорила жестко, но Вера почему-то не боялась. Дома было страшнее — когда мать кричит, когда молчит, когда лежит лицом к стене. А здесь, на остановке, в компании пьяных надписей и вонючей фанеры, было почти спокойно.

Автобус пришел через десять минут. Старый, дребезжащий, «ПАЗ», крашенный когда-то желтой краской, но теперь желтизна осталась только в щелях. Кондукторши не было — билеты продавал водитель, лысый мужик в трениках.

— До Кирпичного? — спросил он.

— До Кирпичного, — ответила бабушка и протянула две мятые бумажки — рублей пять, наверное.

Они сели у окна. Вера прижалась к стеклу — оно было холодное, и от него заныли зубы. За окном медленно плыл Зареченск: сначала двухэтажные бараки, потом деревянные дома с резными наличниками, потом пустырь с ржавыми трубами, а потом пошли частные сектора — времянки, сараи, покосившиеся заборы.

— Кирпичный называется, — сказала бабушка. — Потому что тут кирпичный завод был. Разорился теперь.

— А вы где работаете, бабушка?

— На пенсии я. Раньше на заводе работала. Сорок лет у станка.

Вера не знала, что такое «у станка», но прозвучало это важно.

Автобус остановился. Они вышли. И Вера увидела бабушкин дом.

Он стоял на отшибе, последний на улице, а за ним сразу начинался лес — темный, еловый, неуютный. Дом был деревянный, старый, но крепкий — бревна почернели от времени, но стояли ровно. Окна маленькие, с белыми рамами. В палисаднике — забор из горбыля и сухой куст сирени.

— Проходи, — сказала бабушка и открыла калитку.

Двор был метеный — ни соринки. У крыльца стояла скамейка, на скамейке — таз с замоченным бельем. В углу — сарай с навесным замком. И тишина. Такая, какой Вера никогда не слышала в городе. Ни машин, ни криков, ни музыки из соседней квартиры. Только ветер в проводах и где-то далеко собака.

— Заходи, — позвала бабушка с крыльца. — Нечего воздух морозить.

Внутри дом пах. Сложно, по-бабушкиному: старыми половицами, сушеными травами, щами, которые томились в печке (у бабушки была настоящая русская печь, беленая, с заслонкой), и еще чем-то таким, от чего Вере захотелось лечь и заснуть.

— Вот твое место, — бабушка указала на угол у окна. Там стояла железная кровать с панцирной сеткой, на ней — матрац, набитый чем-то шуршащим, и сверху — лоскутное оде-

яло.

— Мое? — переспросила Вера.

— Твое. Жить будешь здесь.

Вера села на кровать. Потрогала одеяло — оно было тяжелое, теплое, пахло деревней и чем-то сладким, может, яблоками.

— Бабушка, — тихо спросила она. — А мама знает, где я?

— Знает.

— А папа?

— Папа вечером придет, узнает.

Вера замолчала. Внутри нее боролись две Веры. Одна хотела обратно — к маме, пусть даже к плохой, пусть даже к той, которая не обнимает. Потому что мама — это мама. А другая Вера — та, которая пряталась под одеялом по ночам и слушала крики, — эта Вера хотела остаться. Потому что здесь было спокойно.

Бабушка села напротив, на табуретку. Посмотрела на Веру.

— Знаешь, почему я тебя забрала?

— Нет.

— Потому что ты не виновата. Ни в чем. Запомни это.

Вера кивнула, хотя не поняла.

— А теперь, — бабушка встала, — мой руки. Будем обедать. Щи простынут.

Вера встала, пошла за бабушкой. У печки остановилась.

— Бабушка, — спросила она. — А мама меня не любит,

да?

— Не твое дело, — ответила бабушка, не оборачиваясь.  
— Твое дело — жить.

И сняла с огня чугунок. Пар повалил к потолку, запах щей — капусты, мяса, лаврового листа — заполнил всю кухню.

Вера села за стол. Деревянный, шаткий, покрытый клеенкой в цветочек. Бабушка налила щи в глубокую тарелку с отбитым краем. Положила ложку — алюминиевую, погнутую.

— Ешь, — сказала она.

Вера взяла ложку. Поднесла ко рту. Щи были горячие, наваристые, с кусочком говядины, который таял на языке.

Она ела и чувствовала, как тепло растекается по животу. Не только от щей.

— Спасибо, бабушка, — сказала она.

— Не благодари. В свое время отблагодаришь.

За окном смеркалось. Апрельский день кончался быстро, потому что за лесом солнце садилось рано, зацепляясь за верхушки елей. Вера смотрела в окно и видела, как первые звезды проступают на бледно-лиловом небе.

Она не знала, что ее ждет в этом доме. Молитвы по утрам. Строгие правила. Холодная вода из колонки. И любовь, которая не говорит ласковых слов, но кормит щами.

Она не знала, что это будет ее домом на долгие годы.

Но сейчас, сидя на кухне с бабушкой и сжимая в кулаке край лоскутного одеяла, она чувствовала одно — она жива. И это уже победа.

— Бабушка, — прошептала Вера, когда доела. — А можно у вас кукла Света будет жить?

— Привози свою куклу. Место есть.

Вера улыбнулась. Впервые за долгое время — по-настоящему.

За стеной завыл ветер. Бабушка перекрестила окно — широко, привычно.

— Спи, — сказала она. — Завтра рано вставать.

Вера легла на железную кровать, накрылась лоскутным одеялом. В щель между рамами дуло, но одеяло было такое толстое, что холода она почти не чувствовала.

Закрыла глаза.

И впервые за много ночей не боялась.

— Мама, — прошептала она в темноту, но не Алису, а какую-то другую, воображаемую, добрую. — Мама, я теперь здесь. Не теряй меня.

Ответа не было. Только ветер.

Но Вера уже знала: ответ и не нужен. Она сама себя не потеряет.

## Глава 4. Дом на окраине

Май 1994 года. Зареченск, окраина, Кирпичный поселок. Утро, половина шестого. Солнце еще не взошло, но небо над лесом уже посерело, налилось молочным светом. В огородах — роса, такая густая, что трава лежит пластом, прибитая влагой. Петухи орут уже второй круг, а где-то за лесом, на трассе, просыпаются грузовики — гул еле слышный, но тяжелый, земляной. В доме бабушки Евдокии пахнет топленым молоком и сыростью из подпола.

Вера проснулась от того, что кто-то ходил по дому.

Не бабушка — та ходила твердо, уверенно. Эти шаги были мягкие, крадущиеся. Вера открыла глаза — в комнате было темно, только из-под двери на кухню пробивалась полоска света и доносилось бормотание.

Она приподнялась на локте. Сердце стучало где-то в горле — старый страх, материнский: сейчас войдут, сейчас начнут кричать.

Но никто не вошел. Шаги удалились. Бормотание стихло.

Вера села на кровати. Лоскутное одеяло сползло, и холод пробрал до костей — майское утро на Урале не шутит. Она нашарила ногами тапки — бабушкины, старые, войлочные, велики на три размера — и пошлепала на кухню.

Бабушка стояла у окна спиной к двери. Она была в длинной юбке и темной кофте, волосы убраны под платок. Руки

сложены на груди, губы шевелятся. Вера замерла на пороге — она уже поняла, что бабушка не просто так стоит. Она молится.

— Бабушка?

Евдокия обернулась. Глаза черные, острые — не злые, но такие, что Вера съежилась.

— Чего встала? Сказано было — будить в шесть.

— Я сама проснулась.

— Сама — хорошо. Сама — значит, душа не спит.

Бабушка подошла к Вере, поправила сползшую кофту. Рука у нее была сухая, твердая, с черными полосками грязи под ногтями — от земли, от огорода. Но поправила аккуратно.

— Умывайся. Завтракать будем.

Умывальник стоял во дворе — железная колонка с ржавым краном. Вера вышла на крыльцо и зажмурилась. Утро было красивое — не городское, не больничное, а какое-то свое, деревенское. Небо высокое, бледно-голубое, с розовой полоской на востоке. Воробьи дрались в кусте сирени. Пахло сырой землей, прошлогодними листьями и еще чем-то сладким — наверное, береза почки распустила.

Вера открыла кран. Вода была ледяная, руки заболели сразу, но она терла их долго — с мылом, как учила бабушка. Внутри вдруг поднялось что-то странное: не радость, нет. Какое-то облегчение. Как будто она долго сидела в душевной комнате, а теперь вышла на воздух.

Она не знала тогда этого слова — «свобода». Но чувство-

вала его.

За завтраком бабушка сказала:

— Сегодня пойдем к Петру.

Вера перестала жевать. Кусок хлеба с маслом застрял в горле.

— К кому?

— К Петру. Старейшина наш. Помолимся вместе.

— А мы не дома молимся?

— Дома — для души. А вместе — для силы.

Вера не понимала, что значит «для силы». Но спорить не стала — она уже поняла, что с бабушкой спорить бесполезно. Как с камнем. Можно биться головой, но камень не станет мягче.

Петр жил в соседнем доме — через два участка, у самого леса. Дом у него был не такой, как у бабушки: новый, кирпичный, с металлической дверью и пластиковыми окнами — редкость по тем временам. Вера знала, что Петр — главный. Но главный чего — не понимала.

Они зашли во двор. У крыльца уже стояли люди — тетки в платках, дед с палкой, молодая женщина с ребенком на руках. Все молчали. Ребенок — девочка примерно Веркиного возраста — смотрела испуганно и сосала палец.

— Здравствуйте, — сказала бабушка.

— Здравствуйте, Евдокия Степановна, — ответила молодая женщина. — А это ваша внучка?

— Моя. Вера.

Вера кивнула. Никто ей не улыбнулся. Не потому, что злые — потому что здесь не принято было улыбаться без причины. Улыбка — это баловство. Баловство — от лукавого.

Дверь открылась. На пороге стоял Петр.

Он был невысокий, сутулый, в старом пиджаке и рубашке с расстегнутым воротом. Лицо — мятое, с мешками под глазами, но взгляд — тяжелый, всасывающий, как черная дыра. Вера смотрела на него и чувствовала, что внутри что-то сворачивается. Не страх — скорее отвращение. Как будто она наступила в лужу и теперь никак не может вытереть ногу.

— Заходите, — сказал Петр голосом тихим, масляным. — Благодать сегодня.

Дом внутри был чистый, почти стерильный. В большой комнате стояли лавки вдоль стен, в углу — стол, на столе — иконы, но не церковные, не привычные, а какие-то темные, с маленькими ликами, похожими на засохшие цветы. Пахло ладаном и еще чем-то кислым — может, заваркой, может, потом.

Люди расселись. Бабушка посадила Веру рядом с собой. Шепнула:

— Не вертись. Слушай.

Петр встал перед иконами. Помолчал. Закрыв глаза.

— Возлюбленные, — начал он. — Вознесем молитву. Мир во зле лежит. Миром правит сатана. Но мы, избранные, видим свет. Мы не от мира сего.

Вера слушала. Слова были красивые, но непонятные. «Избранные». «Не от мира сего». Она посмотрела на бабушку — та сидела с закрытыми глазами, губы шевелились. На молодую женщину — та плакала, тихо, без звука. На девочку с пальцем во рту — та смотрела на Веру с ужасом.

Петр читал долго. Сначала молитву, потом какой-то стих, потом снова молитву. Люди подхватывали, но нестройно, вразнобой. Когда Петр повышал голос, все вздрагивали. Когда понижал до шепота — наклонялись вперед, боясь пропустить.

Вера сидела и думала. Почему они все боятся? Разве бога боятся? Бабушка говорит — бога надо любить. А здесь не любовь. Здесь что-то другое.

На середине службы Петр открыл глаза и посмотрел прямо на Веру.

— Девочка, — сказал он. — Подойди.

Вера замерла. Бабушка толкнула ее в спину.

— Иди, раз зовет.

Вера встала. Ноги не слушались — она сделала три шага к Петру и остановилась. Петр смотрел сверху вниз (хотя был невысокий — Вера просто маленькая).

— Как тебя зовут?

— Вера.

— Вера. Хорошее имя. Веришь ли ты в Бога?

— Не знаю, — честно сказала Вера.

В комнате стало тихо. Так тихо, что слышно, как за окном

муха бьется о стекло.

— Не знаешь? — переспросил Петр. — А вот бабушка твоя знает. Она праведница. Молится за тебя.

— Я бабушку люблю, — сказала Вера. — А Бога я не ви-дела.

Петр усмехнулся — невесело, одними губами.

— Бога не видят глазами. Его видят сердцем.

— А у меня сердце болит, — сказала Вера. — Может, оно занято?

Это было не дерзостью. Это была правда. У Веры действительно болело сердце — с тех пор, как мать не обняла в род-доме. Физически болело, под ребрами, тупой болью. Она ду-мала — это нормально. Оказывается, нет.

Петр замолчал. Посмотрел на бабушку. Бабушка сидела с каменным лицом.

— Странная девочка, — сказал Петр. — Смирения нет.

Он махнул рукой — мол, иди на место. Вера вернулась. Села. Сердце колотилось. Что я сделала не так? Я же правду сказала.

Служба закончилась через полчаса. Люди расходились молча, не глядя друг на друга. Только у калитки молодая женщина с ребенком догнала Веру.

— Ты смелая, — сказала она. — Я бы не посмела так с Петром.

— А почему его боятся? — спросила Вера.

— Он знает. Все про всех знает.

— Откуда?

— Ему открывается.

Женщина перекрестилась — небрежно, по-своему, не так, как бабушка — и ушла. Ребенок обернулся, посмотрел на Веру. В глазах девочки был тот же ужас, что и в начале.

Вера шла домой рядом с бабушкой. Молчали. У крыльца бабушка остановилась, повернулась.

— Ты зачем с Петром пререкалась?

— Я не пререкалась. Я сказала, что сердце болит.

— Дура ты, Вера. Сердце у всех болит. Не об этом спрашивали.

— А о чем?

Бабушка помолчала. Потом сказала:

— О послушании. Ты должна слушаться старших. И не задавать глупых вопросов.

— А глупые — это какие?

— Которые умнее тебя.

Бабушка ушла в дом. Вера осталась на крыльце. Села на ступеньку, обхватила колени руками. Солнце уже поднялось выше леса, светило в лицо — теплое, майское, но Вере было холодно.

Она смотрела на бабушкин огород — грядки ровные, как по линейке, парник из старых рам, пугало в драном пиджаке. В углу огорода — колодец с журавлем. В лесу кто-то стучал топором — далеко, через дорогу.

Зачем я здесь? — думала Вера. — Мама меня не любит.

Бабушка ругает. Петр сказал, что у меня нет смирения. А что такое смирение — никто не объяснил. Может, смирение — это когда молчишь, даже если сердце болит? Тогда я умею. Я давно умею.

Из дома потянуло запахом пирогов. Бабушка пекла — Вера узнала этот запах: дрожжи, яйцо, повидло. В животе заурчало.

— Вера! — крикнула бабушка. — Заходи, остынет!

Вера встала. Отряхнула юбку. У двери остановилась, посмотрела на лес — темный, еловый, настороженный.

Ты не бойся, — сказала она лесу мысленно. — Я тоже тебя боюсь. Может, подружимся?

Лес молчал. Но Вере показалось — ветер чуть стих. Или просто почудилось.

Она вошла в дом. Скинула тапки. Села за стол.

Бабушка поставила перед ней тарелку с пирогом — с повидлом, румяный, с сахарной пудрой на корочке.

— Ешь, — сказала бабушка. И добавила, помолчав: — Петр суровый, но справедливый. Ты его не бойся.

— Я и не боюсь, — сказала Вера. — Я его не понимаю.

Бабушка вздохнула.

— И не надо понимать. Надо верить.

Вера откусила пирог. Повидло было кислое — из собственной смородины, терпкое, на зубах скрипели косточки. Но пирог был вкусный. Самый вкусный, что Вера ела в своей жизни. Потому что пекла его бабушка. Потому что бабушка,

пусть строгая, пусть непонятная, не бросает. Потому что бабушка — это дом.

— Бабушка, — спросила Вера с набитым ртом. — А вы меня любите?

Бабушка замерла. Рука с ложкой застыла в воздухе.

— Ешь, — сказала она глухо. — Не болтай за едой.

И вышла из-за стола.

Вера смотрела ей вслед. И вдруг поняла то, чего не понимала раньше: бабушка не умеет говорить про любовь. Так же, как Верина мать не умеет любить. Но бабушка хотя бы пытается. По-своему. По-звериному. Пирогоми. Крышей над головой. Теплыми тапками на босу ногу.

Может, — подумала Вера, — любовь бывает разная. Мамина — как пустой холодильник. Бабушкина — как этот пирог. Не сладкая, но сытая. С нее не умирают.

Она доела пирог, вытерла рот рукавом. Слезла со стула, подошла к бабушкиной комнате. Дверь была прикрыта. Вера постояла, послушала — бабушка бормотала молитву. Та самая, утренняя, просящая, с повторяющимся «Господи помилуй».

Вера не стала входить. Вернулась на кухню, села на лавку у окна. Достала из кармана платя куклу Свету — маленькую, лысую, с приклеенным пятком вместо глаза. Прижала к груди.

— Ничего, Света, — прошептала она. — Мы привыкнем. Мы уже привыкли.

За окном воробей чистил перья. Солнце поднялось выше, и косые лучи упали на пол, на половицы, на трещину между ними. Вера смотрела на этот луч и думала: Свет бывает разный. Солнечный — греет. Ламповый — не обманешь. А бывает свет, который внутри. Когда знаешь, что ты не одна.

Она не знала тогда, что этот внутренний свет называется «достоинством». Что его нельзя отнять, даже если забрать маму, папу, бабушку, даже если Петр скажет, что ты «без смирения».

Свет внутри — он от Бога. Или от себя. Или от того и другого сразу.

Вера прижала куклу к щеке.

— Света, — сказала она. — Мы будем жить. Обязательно.

В ответ — только тишина. Но Вере ее хватило.

## Глава 5. Красивая тетя с фотографии

Середина июня 1994 года. Зареченск, Кирпичный поселок. Полдень. Июнь на Урале — обманчивый: утром еще плюс десять и ветер с гор, а к обеду солнце раскаляет воздух до плюс двадцати пяти, и дышать становится нечем, потому что влажность высокая — болота кругом. Небо синее-синее, без единого облачка, такое бывает только на Урале в середине июня — провальное, глубокое, космическое. В огороде у бабушки Евдокии цветет картошка — белыми и лиловыми звездочками. Пчелы гудят, тяжелые, мохнатые, сонные. Из леса тянет спеющей земляникой и прелыми опилками.

Вера сидела на крыльце и чистила картошку.

Нож был тупой, старый, с деревянной ручкой, которую когда-то грызла собака. Картошка — мелкая, мышинная, неурожайная. Кожура сдиралась плохо, приходилось скрести ногтем, и под ногтями собиралась черная грязь. Вера не жаловалась. Она уже поняла: жаловаться здесь бесполезно. Бабушка скажет «терпи» или вообще ничего не скажет — отвернется и уйдет.

На коленях у Веры лежало полотенце — чистое, выстиранное в пятницу, пахнущее хозяйственным мылом. На полотенце — кукла Света. Света сидела, прислонившись к ко-

лену, и смотрела на Веру своим единственным глазом — серебряным пятак, который приклеил отец. Пятак уже потемнел, по краям пошла зеленью, но Вере нравилось. Света старенькая, как бабушка. Но живая.

— Вера, — позвала бабушка из дома. — Закончила?

# Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.